



**В. Г.
КОРОЛЕНКО**



Владимир Галактионович Короленко

Софрон Иванович

«В тот день небо над Копенгагеном было мглистое и серое. По временам моросил дождик, падая сверху на дворик, на асфальтовый мозаичный пол, на зелень кругом могилы и на плиту.

Около нее, когда я подошел, стояли три человека.

Один был рослый, очень красивый старик с кудрявыми седыми волосами и темными бровями. Через плечо у него был перекинут легкий плед, сумка на ремне и бинокль. Рядом с ним стояла дама, совсем еще молодая, которую можно было принять за его дочь. Третий собеседник был, по-видимому, туземец – швед или датчанин, белокурый, с белесыми, бесцветными глазами...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0009
III.....	.0020
IV.....	.0025
V.....	.0036
VI.....	.0048
VII.....	.0065
VIII.....	.0078
IX.....	.0085
X.....	.0103
Примечания.....	.0108

**Владимир Галактионович
Короленко
Софрон Иванович
*Из рассказов о встречах
людях***

В первый раз я встретил этого замечательного человека в Копенгагене, в музее Торвальдсена[1].

Ни один музей в мире не производил на меня более сильного впечатления, хотя, несомненно, есть много музеев и богаче, и разнообразнее. Музей Торвальдсена – это гигантский саркофаг, воздвигнутый над скромной могилой художника. Строгое, простое, почти без всяких украшений здание охватывает с четырех сторон небольшой дворик. Посередине дворика, обставленная цветами, лежит скромная каменная плита, на плите простая надпись; «Bertel Thorwaldsen». Кругом в четырехугольном здании коридоры и залы, в которых собрано в оригиналах или копиях все, сделанное художником, и все, что имеет к нему отношение. Торвальдсен спит здесь, под этим камнем, окруженный своими творениями... Есть что-то возвышенное и трогательное в этой символической связи жизни и смерти.

В тот день небо над Копенгагеном было мглистое и серое. По временам моросил дож-

дик, падая сверху на дворик, на асфальтовый мозаичный пол, на зелень кругом могилы и на плиту.

Около нее, когда я подошел, стояли три человека.

Один был рослый, очень красивый старик с кудрявыми седыми волосами и темными бровями. Через плечо у него был перекинут легкий плед, сумка на ремне и бинокль. Рядом с ним стояла дама, совсем еще молодая, которую можно было принять за его дочь. Третий собеседник был, по-видимому, туземец – швед или датчанин, белокурый, с белесыми, бесцветными глазами.

Лица у всех были серьезные, как будто даже слегка торжественные. Седой господин снял шляпу, которую держала теперь его спутница, и капли дождя падали на его белую, вьющуюся шевелюру. По-видимому, он служил центром этой небольшой группы. Молодая женщина глядела на него снизу вверх с выражением благоговения, почти обожания. Белесый туземец ловил каждое его слово и движение...

Когда я подошел, старый господин, только

что набросавший что-то в записной книжке, вырвал слегка промокший листок и протянул его белесому господину. Тот пробежал написанные строки и выразил на каком-то неизвестном мне языке свое восхищение. Потом он вынул платок, бережно снял с листка капли дождя и аккуратно, как святыню, спрятал листок в портмоне. После этого они обменялись еще несколькими словами. Я напрасно вслушивался в их разговор, стараясь определить национальность неизвестных туристов; звуки были мне совершенно чужды, – во всяком случае они не говорили ни по-французски, ни по-немецки, ни по-английски, ни по-шведски. Мне показалось почему-то, что это должны быть венгерцы, – вероятно потому, что именно о венгерском языке я не имел ни малейшего, даже приблизительно, звукового понятия.

Через минуту незнакомцы исчезли, и я остался один перед могилой Торвальдсена... Сверху все сеял тихий дождик, шелестя по крышам здания и по мозаичному полу двора. Легкие мгlistые тучи передвигались вверху, навевая какие-то неуловимые, неясные мыс-

ли... Начинало вечереть, в здании-саркофаге звонили. Посещение кончилось.

Я вышел из музея с сильным, хотя и смутным ощущением, унося с собою воспоминание об этом грандиозном памятнике, о дворике, о плите с величаво простою надписью, о дожде, о мглистых тучах и... о высоком старике, стоявшем с непокрытою головою у этой могилы... Вероятно, – подумал я, – какой-нибудь художник, ученый, поэт, вообще – знаменитость, посетившая Копенгаген. По восхищенно-почтительному лицу туземца можно было догадаться, что он считает это посещение за великую честь для датской столицы...

Было это в 1894 году, во время чикагской выставки[2]. Направляясь в Америку, я выбрал, вместо обычной, так сказать, большой европейской дороги, – некоторый международный проселок: через Гельсингфорс я проехал в Стокгольм, оттуда в Мальме, из Мальме в Копенгаген, где надеялся увидеть известного критика Брандеса[3]. Затем уже мне предстояло перерезать Данию и Немецким морем отправиться в Лондон.

Брандеса в Копенгагене не оказалось, и сам Копенгаген показался мне очень неинтересным среди лета. Расположенный точно на опрокинутом блюде над морем, он охвачен застаивающимися теплыми морскими лужами. В середине города огромный сгоревший дворец рисуется в синеве неба пустыми окнами, и перед дворцом, точно на страже этой руины, стоит тяжелая и грузная бронзовая фигура Фридриха VII. Страшная жара, воздух, пропитанный йодистым запахом морской воды и водорослей, непонятный язык и непонятная жизнь – все это наводило какую-то

особенную тоску и заставило меня сократить пребывание в столице Дании. Через несколько дней быстрый поезд понес меня к небольшому приморскому городу Эссбиергу...

Здесь приступ «дорожной тоски» достиг у меня самой высшей степени... Выйдя в Эссбиерге на перрон вокзала, я показал кондуктору свой билет, взятый у Крукса, на котором значилось, что я должен сесть здесь на пароход и следовать в Англию. Кондуктор переговорил с начальником станции, они о чем-то советовались, над чем-то недоумевали и, наконец, как будто придя к какому-то решительному заключению, – толкнули меня в маленький вагон, захлопнули дверцы и... через полчаса вагон выкинул меня на дощатую дамбу пристани.

Это был самый край датской земли, и дальше катились только желто-бурые тяжелые волны Немецкого моря. Вдали, почти на горизонте, лежала еще туманная полоса длинного острова. Большая часть приехавшей со мною публики быстро направилась к небольшому пароходоу, который вскоре дал тонкий свисток и, качаясь, как скорлупка на волнах, по-

шел к острову, волоча за собой необыкновенно длинный и плотный хвост бурого дыма.

У пристани дымился еще только один пароход, к которому тоже направилась часть приехавшей публики. Оказалось, однако, что этот пароход готовится к круговому рейсу вдоль норвежского берега. Он тоже сначала прозвонил три раза, потом три раза свистнул и, отвалив от дамбы, грузно и солидно принялся рассекать морские волны, направляясь к северу. Вскоре он обратился в неясную темную полосу, резавшую однообразные ряды мутных волн. Маленький пароходик уже едва виднелся на фоне дальнего острова.

Потом подошла с запада туча, покрыла остров и затянула пеленой дождя и полосу дальней земли, и горизонт моря, и оба парохода. Затем дождь стал поливать ближайшие волны и застучал по настилке дамбы, на которой я, не зная совершенно, что делать дальше, сидел на своем чемодане, закрывшись зонтиком.

Тут-то «дорожная тоска» захватила меня уже всецело. Опустевшая дамба казалась совершенно мертвой. Под ней плескалось чу-

жое море, невдалеке за пеленой дождя и начинавшихся сумерек виднелся чужой город, с совершенно непонятною мне жизнью, над головой мглистое, неприветливое, чужое небо... Единственный признак жизни проявляли только два или три вагона, которые, казалось, сами собою, без локомотива, лениво и тихо катились по рельсам... Это несколько оборванцев-грузчиков – датская «золотая рота» – подавали к дамбе груженные вагоны. Люди были одеты грязно, в уродливых клеенчатых шляпах, по которым струйки дождя стекали на потные лица, на плечи, за воротники...

Мне кажется, что есть особая болезнь, которая охватывает одинокого путника на чужбине... Для нас, русских, она несколько осложняется еще особым оттенком настроения... Содержание этого сложного ощущения, я думаю, лучше всего характеризуется словами: «Все то же».

Да, именно. В этом специфическом ощущении сливается вся горечь «дорожной тоски» со всем, что связано горького с воспоминаниями о родине... К какому бы классу, сословию, направлению мы ни принадлежали, все-таки

в первый раз мы въезжаем за границу с чувством ожидания и обостренного интереса. Пусть это будет наивно-западническое преклонение или, наоборот, кичливое пренебрежение к «гнилому Западу», но все же с первым движением нашего любопытства связан вопрос: «Ну, что же? У вас тут много лучше нашего? Свобода, конституция, республика, парламент? Нет у вас ни голода, ни нищеты, ни порока?..» И как бы мы ни были подготовлены, как бы наивными ни казались нам, теоретически, подобные ожидания, – все же яркая фигура какого-нибудь западного lumpenпролетария отпечатлевается в нашем восприимчивом взгляде с такою яркостью и силой, с какой мы никогда не воспринимаем их на родине. Нам уж как будто и бог велел... А вот у них... неужели и у них «все то же»?..

Да, «все то же» – это неизбежная прелюдия к дальнейшим впечатлениям русского туриста за границей. Прежде всего мы видим пятна – со скорбью или со злорадством, и только впоследствии выступят различия, оттенки, явится возможность производить относительную оценку и количественные учеты...

После поймешь, что и «то же» бывает не так и что вопрос совсем не в том, кто на этом свете достиг уже всего, а лишь в том, кто борется и достигает большего...

Все это, впрочем, я понимал и тогда, но это понимание, залегавшее где-то далеко, утопало, как дальний остров за мглою, а впереди, именно как эта мгла, стояла бесформенная тоска русского путешественника. Казалось, что-то вроде морской болезни охватывало меня еще на суше. Сверху лил дождь, внизу глухо билось под дощатой настилкой Немецкое море, по временам проскакивая белою пеной в щели дамбы, и я, одинокий, никому здесь не нужный путник, спрашивал себя с невольным раздражением, – зачем я ношу с собой по свету эту грызущую тоску, когда ей отлично нашлось бы место и на родном просторе? И я смотрел злыми, скучающими глазами, как ко мне тихо подвигались мокрые вагоны, из-за которых по ту сторону виднелись несколько пар ног в изорванных, грязных и мокрых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу...

Наконец, скрипя буферами, вагоны остано-

вились, и кучка людей вышла из-за них к дамбе. Фигуры были очень живописны со своими грязными одеждами и спокойным утомлением. Привычные датчане не обращали ни малейшего внимания на дождь, и один из них, сухой старик с бритым лицом и впалыми тонкими губами, напомнил мне того бурлака в картине Репина, который на ходу подлямкой так спокойно набивает трубку. Он тоже набил маленькую трубку, сунул ее себе под нос и затем сказал товарищам что-то веселое. Все засмеялись...

В это время неожиданно из-за вагонов появился еще один человек, вид которого поверг меня в сильнейшее изумление: это был тот самый неизвестный господин, которого я видел у могилы Торвальдсена. Те же курчавые седые волосы, та же мягкая шляпа, те же глубокие синие глаза и бинокль на ремне через плечо. Удивление мое усилилось еще внезапным воспоминанием о том, что, пока вагоны двигались по рельсам, я видел среди нескольких пар ног в деревянных башмаках одну пару в чистых черных брюках и... высоких калошах. Теперь я невольно взглянул на

ноги моего незнакомца. На нем именно были высокие калоши. Итак – он помогал грузчикам толкать вагоны! Это подтвердилось и тем, что одно плечо у него было сильно загрязнено, – очевидно, от прикосновения к углу вагона.

По-видимому, острота старого грузчика и смех остальных относились именно к моему незнакомцу. Впрочем, и острота и смех были совершенно благодушны, и господин, оглянувшись на них как будто непонимающим взглядом, тотчас же подошел к грузчику и миролюбиво похлопал его по плечу. Старый юморист, пожевав как-то особенно смешно губами и вдруг вынув из них трубку, – предложил ее незнакомцу. Тот просто взял ее и, сунув себе в рот, выпустил несколько клубов дыма. Это вызвало во всей компании новый взрыв веселья...

Седой господин возвратил трубку по принадлежности и, присев на связку канатов, лежавших на дамбе, сказал вопросительным тоном несколько слов. Старый грузчик покачал головой, видимо не понимая. Незнакомец, по-видимому, слегка удивился, подумал и, как

будто найдя еще какие-то слова, которые должны были, по его мнению, быть более доступны собеседникам, опять сказал две-три фразы. Старый грузчик оглянулся на товарищей, и все, видимо, несколько заинтересованные, покачали головами... Тогда незнакомец вынул из кармана небольшую книжку, порылся в ней и сказал короткое слово с каким-то торжественным выражением. Грузчики посмотрели на небо, откуда продолжал тихо сеять мелкий дождик, и закивали головами. По-видимому, там, в вышине, нашлось, наконец, что-то, что было понятно и обще незнакомцу и этим людям. Он поднялся и, внимательно перелистывая свою книжку, находил еще новые слова, которые, по-видимому, были также понятны. Грузчики перестали смеяться и, тесно окружив седого господина, слушали и порой заглядывали в книжку с видимым интересом и некоторым напряжением.

Однако старик успел докурить свою трубку, и датчанам нужно было приниматься за работу. Один за другим они подходили к незнакомцу, дружески хлопая его по плечу

или пожимая его руку мокрыми, грубыми руками. В их глазах светилось слегка юмористическое выражение благодушия и усмешки, но, когда они отошли гурьбой, чтобы приняться за новую партию вагонов, я увидел почти то же выражение на лице незнакомца. Он смотрел им вслед и слегка кивал головой, причем синие глаза его ласково смеялись. Но на его лице вместе с детской непосредственностью этой удивительно привлекательной усмешки видно было еще что-то, как будто такое же непосредственное сознание превосходства и уверенности в чем-то.

Потом он оглянулся на туманное море, на пристани, на мокрую дамбу, и его взгляд на мгновение остановился на моей одинокой фигуре. Взгляд этот стал вдруг равнодушен. Сделав несколько шагов, он бросил мне фразу на своем неизвестном диалекте, и мне показалось, что мой непонимающий, отрицательный жест внушил ему какое-то невыгодное обо мне представление. Он отвернулся и пошел по дороге в город. Он шел легкой для его возраста походкой, и его внушительная фигура мелькала над лужами по дороге. Было что-

то ободряющее в этой беззаботности. «Ведь вот, – подумал я, – этот странный человек тоже здесь, очевидно, чужой, его языка здесь тоже никто не понимает, и, однако, он чувствует себя так легко и свободно...»

Я отряхнулся, разыскал домик, где жил пристанской сторож, вынул из чемодана смену белья и необходимейшие вещи и отдал чемодан сторожу. Объяснив жестами, что мне нужно в город и что я жду парохода, – я пошел вслед за незнакомцем, фигура которого, впрочем, уже скрылась в пелене внезапно усилившегося дождя.

На самом краю города над небольшим зданием виднелась глядевшая на бухту и море золотая вывеска «Hotel Royal», – и я очень обрадовался скромной гостинице Эссбиерга. Здесь, на ломаном немецком языке, с примесью датских и английских слов, хозяин объяснил мне, что мой пароход «Botnia» придет только ночью, а уйдет завтра к вечеру, и что мне всего лучше взять на это время номер в его гостинице...

Я так и сделал. «Hotel Royal» напоминал плохонькую гостиницу нашего Юго-Западного края, разве только несколько опрятнее. Особенность ее составляла двуспальная кровать с перинами чуть не до потолка, крашенные и после того уже сильно засиженные мухами стены и портреты короля Фридриха VII и его супруги в плохих рамах. Снизу слышалось постукивание костяных шаров, и я представил себе, что это чиновники эссбиергского уездного казначейства развлекаются на бильярде. Впрочем, сойдя в зал, чтобы пообедать, я увидел за бильярдом топорные фигу-

ры корабельных шкиперов в кожаных куртках и грубых сапогах.

В гостинице, очевидно, приезжих было мало, в пустых коридорах стояла какая-то томительная, выжидающая тишина, среди которой шаги раздавались гулко и отчетливо. Когда я, пообедав, опять возвращался в свой номер, соседняя дверь слегка приоткрылась, и в щель выглянуло молодое женское лицо. Увидев меня, незнакомка быстро скрылась. Я успел только заметить сверкнувший при свете лампы черный глаз, светившийся сначала как будто нетерпеливым ожиданием и радостью, потом разочарованием и гневом. Лица мне не было видно. И каждый раз, когда я, уходя из номера, возвращался в него, – до самого позднего вечера повторялось то же: при шуме шагов дверь приотворялась, и ко мне обращались глаза незнакомки, полные томительного ожидания...

Ожидаемый человек не являлся. За тонкой перегородкой я слышал нетерпеливые шаги, постукивание открываемого окна и порой вздохи...

Глубокою ночью с моря до моего слуха до-

несся далекий протяжный свисток. Я открыл окно. Дождь прошел, хотя по небу, то загорая живая, то открывая лунный свет, быстро неслись разорванные облака. Море то светилось подвижными блестками, то погружалось в темноту, и тогда на нем были видны огоньки далекого еще парохода. Это, вероятно, подходила наша «Ботния». В городке началось движение, прогремели две-три повозки, пробежал человек с ручной тележкой, группа темных фигур в клеенчатых плащах неторопливо вышла из какого-то агентства и неторопливо спустилась к широкой болотистой равнине, отделявшей городок от дамбы и пристани.

Окно моей соседки налево было открыто. Полоса света ложилась на затененную домами улицу, и в этой полосе ясно обрисовывался силуэт женской фигуры. По-видимому, соседка не ложилась и теперь, как и я, смотрела на далекое море... Впрочем, ее интересовала, очевидно, не «Ботния». Она высунулась из окна и жадно глядела на улицу, по которой слева ясно виднелась теперь в лунном свете одинокая темная фигура человека, шедшего по

направлению к гостинице... Но вот с моря опять донесся протяжный свисток... Высокая фигура на улице остановилась, как будто прислушиваясь, и затем круто повернула к спуску на равнину. На минуту она исчезла за крутым спуском, а потом я увидел темный силуэт на одной из дорог к пристани...

Окно соседки резко стукнуло, и затем я услышал из-за тонкой перегородки, как она бросилась на свою кровать. Я представлял себе, что незнакомка непременно плачет... Ждать с таким нетерпением весь день до глубокой ночи и видеть, как страстно ожидаемый человек поворачивает почти от двери и опять скрывается в далеком сумраке, – это казалось мне серьезным испытанием и не для женских нервов...

Я посмотрел на часы. Было уже около двух, но мой сон улетел. Я с какой-то особенной ясностью чувствовал за перегородкой нервное нетерпение моей соседки, которая опять беспокойно ходила по своей комнате... «Кто она и кого ждала с таким нетерпением?» – думал я невольно, глядя, как синеватый лунный свет то врывается в мой номерок, то опять уга-

сал, выдвигая на время портреты Фридриха VII и его супруги и опять отодвигая их в сумеречную даль...

IV

Проснулся я на следующий день очень поздно, написал несколько писем и пообедал в гостинице, в которой теперь стучали шарами на бильярде новые игроки, впрочем, в таких же кожаных куртках и таких же грубых сапогах, очевидно, опять моряки, быть может, с нашей «Ботнии». Когда я шел по коридору к своему номеру, то увидел, что соседняя дверь открыта настежь, и высокая молодая служанка, напоминавшая валькирию[4] и ростом и дородством, подметает и убирает номер. Итак – моя соседка тоже выехала, и я подумал не без удовольствия, что, вероятно, я встречу ее на той же «Ботнии». Мне было приятно, что на борту чужого и незнакомого парохода может найтись человек, о котором я хотя кое-что знаю и относительно которого у меня есть определенный вопрос, дразнящий до известной степени любопытство.

Спускался уже вечер, когда, сделав некоторые покупки в городе и расплатившись в Hotel Royal'e, я опять подъехал к дамбе, так негостеприимно встретившей меня вчера. Ве-

тер усилился против вчерашнего, и дамба вся дрожала от ударов волн, попадавших под ее настилку и бившихся там, точно разъяренное животное в клетке. Прилив кончился, гряды волн неслись к берегу, покрытые белыми гребнями, но вся масса моря, видимо, начинала отступать, обнажая песчаные отмели, по которым бегали дети с заголенными ногами, собирая крабов. Пароход качался и скрипел на причалах, грузно налегая на пристань под ударами волн, и ветер резко и жалобно свистел между вантами.

Все это обещало довольно беспокойную ночь в море, хотя и капитан и прислуга «Ботнии» отвечали на вопросы, предлагаемые на разных диалектах, что никакой бури нет и что это только «свежий ветер» (*frisch wind*), а за брекватером[5], в открытом море, волнение гораздо слабее. Я заметил, что все капитаны отвечают подобным же образом в таких случаях и что на публику это утверждение, хотя бы совершенно противное и очевидности и здравому смыслу, всегда производит успокоительное действие...

Кое-как устроив свои вещи в каюте, я вы-

шел на палубу, чтобы поискать свою незнакомку. Правда, я ее совсем не разглядел в гостинице, и теперь было трудно найти ее среди пароходного движения... Тем не менее одна фигура, приютившаяся в темном углу каюты-рубки, сразу привлекла мое внимание. Женщина в темном платье сидела у окна и, видимо, кого-то ждала, глядя по направлению к дамбе. Во всей фигуре и в позе незнакомки мне сразу почуялось нервное нетерпение вчерашней соседки.

Начало темнеть, на пароходе зажгли электричество. На дамбе засветились желтые огни фонарей, и один из них светил у самых сходней. На темной равнине послышался свисток, и вскоре к пристани подошел передаточный поезд, доставивший приезжую публику с вокзала и из города. Дамба сразу ожила, и из вагонов хлынула к «Ботнии» большая толпа пассажиров. Они появлялись из сумрака, проходили через полосу света и опять исчезали под тентом в темноте, поглощавшей людей, чемоданы, тюки товаров... Моя незнакомка как-то робко вышла из своего угла и, став у борта, вся потянулась навстречу вхо-

дившим.

Прогудел второй свисток. В полосе света все появлялись и исчезали люди в дорожных платьях с сумками через плечо, с пледами на руках. Толпа заметно редела, сменяясь матросами и носильщиками, а моя незнакомка стояла все в той же позе, жадно всматриваясь в сумрак за дамбой, где неясно виднелся ряд вагонов.

Наконец она заметно дрогнула и сделала резкое движение. Я посмотрел на дамбу. В полосу света входила толстая дама с каким-то пожилым господином, не то мужем, не то лакеем, несшим на руках болонку, потом пробежала свежая немочка с ридикюлем в руках, а за ней появился длинный и сухой господин с моноклем в глазу, которым он водил по сторонам, как будто тоже кого-то разыскивая. Свет фонаря неприятно отразился кружком на стеклышке монокля, и вся фигура незнакомца показалась мне необыкновенно противной. Он был, пожалуй, недурен собой, но от него веяло какой-то сухостью и вульгарной самоуверенностью. За ним уже никого из классных пассажиров не было, и на дамбу вы-

сыпала целая гурьба престонародья с узлами, чемоданами, сундуками, по-видимому, эмигрантов...

Когда я оглянулся, моей незнакомки уже не было. Она исчезла раньше, чем молодой человек успел пройти по сходням, как будто боялась, чтобы тот, кого она так страстно ждала, не заметил этого ожидания...

Я почувствовал глубокое разочарование, и всякий интерес к маленькой тайне моей недавней соседки исчез, сменившись досадой... Так вот к кому, подумал я, относилось ее нетерпение, помешавшее мне спать в прошлую ночь... Она ждала этого неинтересного, плоского и самоуверенного господина с моноклем в глазу.

С досады я перестал совершенно следить за молодой дамой и, чтобы не видеть трогательной встречи на пароходе, сошел по сходням на дамбу.

Эмигранты угрюмо суетились при скудном свете фонарей, вынося на плечах из вагонов свои довольно громоздкие пожитки и складывая их на деревянной настилке около фонарного столба. Было что-то угрюмое и пе-

чальное в этой толпе с ее молчаливым движением в сумраке, под свист ветра в снастях и под злой плеск моря. Гора пожитков у фонаря росла, а с нею вместе росла и толпа женщин, детей, подростков, сходявшихся к этому месту с печальными и испуганными лицами. Казалось, неприветливый гул темноты за дамбой, где металось сердитое море и откуда с шипением летели соленые брызги, производил угнетающее впечатление на этих людей, отправлявшихся в неведомую даль, за неведомым счастьем...

Через некоторое время к толпе подошел высокий господин, весь серый, в сером костюме, серой шляпе и даже серых штиблетах, с жесткими пепельными усами. Он вынул из кармана список и стал выкликать имена. Голос у него был жесткий, сердитый и властный, а голоса эмигрантов, откликавшихся на его зов, звучали глухо и робко. Плохо одетые люди выходили на свет, получали от серого господина какие-то карточки и один за другим взваливали себе на плечи тяжелые узлы. Женщины брали на руки плачущих детей, и угрюмая толпа проходила и исчезала, утопая

где-то на корме парохода, между бунтами товаров и корабельными снастями.

Наконец от всей толпы остались только две женщины: одна была старуха, другая – молодая девушка, с испуганными черными глазами. Серый господин наскоро окликнул их фамилии, сунул по карточке и крикнул:

– Schneller, schneller...[6] Vite, vite...[7] Hola! – и в то же время на пристани раздался звонок, а с темной высоты, где неясно виднелась массивная труба с хвостом дыма, понесся оглушающий и унылый гул пароходного свистка.

– Schneller! Vite! – еще раз крикнул серый незнакомец и, повернувшись, ушел. Женщины, испуганные свистом и окриками, беспомощно заметались, очевидно, боясь опоздать и не имея возможности справиться со своими вещами... Вид у них был довольно интеллигентный, хотя одеты были обе довольно бедно. Дочь, видимо, крепилась, но в ее выразительных глазах виднелся испуг и перед этим путешествием в угрюмую неведомую даль, и перед возможностью остаться на берегу...

В полусумраке дамбы виднелось несколь-

ко фигур, равнодушно глядевших на затруднение этих бедняг. Я стал разыскивать взглядом матроса или носильщика, которому бы можно было поручить снести их узлы, – как вдруг из глубины тента так же неожиданно, как вчера, появилась высокая фигура седого господина. Он был в том же костюме, с сумкой через плечо, и вид у него был такой же значительный. Попавшиеся ему на дороге два матроса почтительно отступили и затем смотрели с разинутыми ртами, как этот важный господин, с наружностью, вызывающей невольное внимание, подошел к женщинам, сразу сообразил их положение и, наклонясь, легко вскинул себе на плечи тяжелый сундук. Обернувшись, он смотрел некоторое время вопросительным взглядом, – справятся ли женщины с оставшимися узлами, а затем, слегка согнувшись под значительной тяжестью, пошел впереди и исчез на корме в эмигрантском отделении парохода.

Среди матросов и публики этот небольшой эпизод вызвал значительную сенсацию; «чистая публика», столпившаяся у борта и на рубке перед отходом, переглядывалась с недо-

умением и как будто с насмешкой. И только одно лицо, освещенное лучом электричества, поразило меня выражением искреннего восхищения и восторга. Это была опять моя незнакомка, стоявшая у окна и глядевшая оттуда на всю описанную сцену.

На этот раз я сразу узнал ее и даже удивился, что не узнал ранее: это была та самая молодая женщина, которая с тем же выражением восторга, чуть не обожания, стояла рядом с седым господином у могилы Торвальдсена.

Итак, – она ждала его, а не господина с мопсом? И в моем воображении опять встало, окруженное прежним интересом, нетерпение и страстность ее вчерашнего ожидания. «Неужели, – думал я, – эта молодая и, кажется, довольно красивая женщина могла так ждать этого, правда, интересного старика, который мог бы быть, по меньшей мере, ее отцом? И, во всяком случае, отца никто не ждал бы с таким выражением в глазах...»

Через несколько минут с высоты капитанского мостика раздалась переливчатая трель, на которую ответили из темноты грубые голоса матросов... Затрещала паровая лебедка,

пароход вздрогнул, что-то грузно шлепнулось в море, что-то потом вздохнуло глубоко и тяжело, и фонари на пристани задвигались и стали вытягиваться, как будто весь их ряд выстраивался в новую шеренгу... В темноте продвинулись, как бы вися на воздухе, дальние огоньки Эссбиерга и стали уплывать в неопределенную тьму... Пароход повернулся, дрогнул от встречной волны, которая пронеслась белыми брызгами от носа к корме, и стал тяжело подвигаться вперед, то поднимаясь острым носом, то опять погружаясь и как будто хромая... Проплыли мимо два ярких маяка на концах брекватера, потом засияли на время в стороне огни острова Фадо, который я видел вчера с берега в туманном отдалении. Обогнув и его, «Ботния» шла уже в открытое море, откуда, посвечивая в темноте гребнями пены, набегали шумные гряды волн... Над ними смутно и тяжело залегала темная мгlistая туча, из которой в темное море то и дело падали синие огни молнии, освещая пенистую толчею морской зыби. Оглянувшись назад, можно было видеть далекий берег, остовы пароходов, бледные здания города. Все это,

как призраки, вставало и гасло при мгновенных вспышках молний...

Впереди было темно... И ветер все сильнее свистел в проволочных вантах.

– Frisch, frisch wind, – говорил, проходя с мостика, старик капитан, поставивший за себя помощника после выхода в море...

Войдя в общую каюту, я увидел здесь немецкую пару супругов с болонкой, какого-то долговязого англичанина, еще несколько фигур, не оставивших во мне определенного впечатления, и мою незнакомку. Она опять сидела одна, и лицо у нее было бледное и страдающее.

Теперь я разглядел ее хорошо. Она не была красива, только глаза, черные и глубокие, были очень выразительны; вероятно поэтому в гостинице, когда я видел только ее глаза в приоткрытую дверь, она показалась мне красавицей. Впрочем, черты лица ее были тонки и, пожалуй, изящны, только щеки слегка ввали, как у людей, расположенных к грудным заболеваниям. Какое-то особенное выражение замкнутой и нетерпеливой печали лежало на всем лице, и во взглядах, которые она кидала на остальных пассажиров, было что-то недружелюбное, почти враждебное. Она походила на человека, которому не нравится все окружающее и который мирится со всем этим против своей воли...

Пароход раскачивался все сильнее. Деревянные стены рубки как-то особенно потряскивали, потолок, качаясь, как будто растягивался, электрическая лампа, висевшая над столом, описывала в воздухе странные дуги, как будто усиленно и безуспешно стараясь найти потерянное вертикальное направление... Она точно нацеливалась куда-то и вдруг, будто сознав ошибку, кидалась в сторону и судорожно искала новой точки тяготения. А в это время стена каюты с темными окнами подымалась кверху и, казалось, хотела стать на место потолка...

Все это вызывало во мне какое-то особенное чувство неуверенности и тоски. Я тоже, как эта лампа и эти темные окна, не находил здесь своего места, и что-то во мне колебалось, тосковало и искало нормального положения в этом колеблющемся, неустойчивом мире.

Пассажиры понемногу расходились. Первые, поддерживая друг друга, сошли немецкие супруги с болонкой, которая вдруг очулась на руках у хозяина и как-то жалобно заныла. Потом один за другим снимались с ме-

ста остальные; покачиваясь и хватаясь за мебель, они подходили к винтовой лестнице и исчезали в люке... Скоро остался только долговязый джентльмен, я и моя незнакомка. На долговязого джентльмена качка, по-видимому, не действовала. Он тянул глотками из стакана какой-то смешанный напиток, который составлял из содержимого двух бутылок. Это занятие поглощало его совершенно, так как было довольно трудно удержать на столе обе бутылки, а жидкость в стакане плескалась и проливалась на скатерть. Все это он выполнял, впрочем, довольно успешно, с серьезной сосредоточенностью, – и, по-видимому, эта процедура его очень занимала.

Моя незнакомка, видимо, сильно страдала, но преодолевала себя из досады или упрямства... Наконец она поднялась, глядя перед собой совершенно растерянными глазами, но тотчас же опять опустилась на скамейку. Я подошел к ней и по-французски предложил ей помочь сойти в каюту. Она сказала «merci» и приняла мою руку с таким видом, как будто я наносу ей оскорбление, которого она не в силах избежать. Я помог ей сойти

вниз и проводил до двери каюты... Каюта опять оказалась рядом с моею...

Голова моя кружилась, и вид тесного коридора с рядом дверей и боковых проходов, как-то бестолково раскачивавшихся в тесном пространстве, еще усиливал неприятно сосущее ощущение растерянности и тоски... Мне показалось, что на свежем воздухе будет легче, и я вышел опять наверх.

Небо было темно, громады туч, бесформенных, как тяжелые сновидения, продвигались в темноте с какою-то угрожающею сознательностью. Огромная черная труба парохода качалась в вышине, как будто среди самых туч, и за нею мотался густой хвост дыма... Труба как будто напрасно старалась сбросить присосавшееся к ней чудовище и для этого совершала свои гигантские молчаливые размахи... Но чудовище держалось крепко, следуя за ее качаниями... В одном месте на небе среди бесформенной мглы слегка просветлело; это луна старалась пробиться сквозь туманы, чтобы взглянуть на этот хаос. На несколько секунд это ей удалось, тучи раздвинули свои мохнатые очертания, и несколько рассеянных сине-

ватых лучей упало на колыхающиеся волны... Но скоро мгла опять сдвинулась плотнее, луна скрылась, кипящее море погасло, и из сгустившейся тьмы огромная волна кинулась на пароход. Брызги гигантским фонтаном перелетели через палубу, с шипением ударяясь в стенки и окна... На мостике обрисовался в темноте силуэт помощника капитана. Он наклонился, держась за перила, и что-то крикнул невидимому вахтенному. Тот ответил откуда-то из мрака, и вскоре на палубе зачернела вереница людей в кожаных плащах. Одни полезли на ванты[8], другие тянули откуда-то канаты, переносили и крепили тюки... И протяжная песня, разбиваемая ветром, что-то вроде нашей «Дубинушки», слышалась сквозь плеск волны и свист ветра в снастях... В воздухе вдруг затрепал косой парус, пароход наклонился, казалось вот-вот ляжет совсем горизонтально и уже не встанет. Но в это время он только изменил направление и пошел под парусом несколько ровнее... Было что-то удивительно захватывающее и успокаивающее в этой работе людей, управляющихся в темноте на своей скорлупке, окруженной

разбушевавшимся хаосом...

Мне стало значительно легче... Казалось, что я, наконец, нашел какую-то точку опоры среди ударов ветра, волн и непонятных колебаний парохода. Я еще постоял на палубе, глядя на высокое темное небо и следя за тем, как в одном месте то загорается в тучах мутное, как будто маслянистое пятно лунного света, то опять гаснет...

В это время мимо меня, слегка покачиваясь, но довольно, как мне казалось, свободно прошла темная фигура, в которой я узнал седого господина. Он появился со стороны кормы, по-видимому из эмигрантского отделения, и шел к рубке первого класса... Остановившись около матросов, он обменялся с ними несколькими словами, которых я не слышал за шумом ветра, и двинулся дальше, пробираясь между тюками и канатами. Невдалеке от моего убежища он повстречался с другой фигурой. Это капитан, немного отдохнувший и, вероятно, заметивший перемену курса парохода, шел опять на вахту.

– Frisch wind, sir? – шутливо сказал мой незнакомец.

– Oh, yes, frisch, frisch wind, – ответил капитан благодушно, пожимая руку популярному пассажиру, и тотчас же полез по узкой лесенке на свой мостик. А мой незнакомец постоял еще некоторое время, глядя на море и мутное небо и насвистывая какой-то мотив. Потом он прошел мимо меня. Заметив мою одинокую фигуру в укромном уголке, он вдруг остановился, как бы с любопытством наблюдая за мною, а затем круто повернулся и вошел в рубку. Я видел, как он оглядел освещенную каюту. Там сидел один только англичанин со своими бутылками. Незнакомец направился к лестнице и исчез в люке.

И опять его беззаботность подействовала на меня как-то ободряюще. Мне стало значительно легче, особенно после того, как некоторое время я глядел только кверху на медленно передвигавшиеся тучи, и я тоже спустился вниз, лег на свое качающееся ложе и успел заснуть, прежде чем в моей груди исчезло ощущение холодной свежести моря.

Проснулся я среди глубокой ночи. В моей каюте было темно, кругом за стенами стоял все тот же плеск и грохот, пароход все так же

раскачивался, сухо потрескивая перегородками, по иллюминатору стекала вода и, казалось, журчала где-то в самой каюте. Было как-то жутко вспомнить, что наша скорлупка-пароход несется, качаясь, таким образом по темному разбушевавшемуся и враждебному простору.

В моей перегородке справа тонкой щелочкой пробивался откуда-то луч света. В соседней каюте слышались тихие стоны, и кто-то говорил... Прислушавшись, я ясно разобрал слова. Говорил мужчина и говорил... по-русски.

– Ах, Женя, Женя... И все отчего? Оттого, что... прости меня, но у тебя именно нет веры...

В ответ на это раздался женский стон, слабый, но очень выразительный...

– Да, положительно! – продолжал мужской голос. – С верой Петр пошел вот в такую же погоду по волнам и не утонул... А ты вот... Жаль положительно, что я не взял тебя в эмигрантское отделение. Посмотрела бы ты, что там делается... и тогда... я уверен – тебе было бы стыдно поддаваться этому малодушию. А

еще лучше, если бы мы прямо поехали с ними... Стоит лишь уступить... Ну, вот... видишь, Женя... Ах, боже мой... Ну, можно ли так?

На время все смолкло, потом налетела новая волна, и ее грохот промчался наискось от носа к корме. Когда несколько стихло, мужской голос продолжал уже другим тоном:

– Знаешь что, Женя. Я вот стоял там на палубе... там матросы заняты работой... И я долго смотрел на небо и на море... И у меня явилась еще новая теория, которую я положительно вставлю в свою книгу. Я думал о том, что такое, в сущности, морская болезнь. И понял. Это, видишь ли... как бы сказать... потеря центра тяготения... Все кругом колеблется, меняет место, дрожит, сотрясается, и человек не может понять закона этих колебаний. Ясно тебе? Нет? Ну, постой, я тебе это скажу яснее... Ах, Женя, да ты лучше слушай... Слышишь, что ли?

Ответа, по-видимому, не было, но говоривший, очевидно, увлеченный ходом собственной мысли, продолжал громко и с возрастающим оживлением:

– Представь себе как можно яснее... Темнота, хаос... В этом хаосе игрушкой стихий несетя наше суденышко... настоящий микрокосм... И на нашей «Ботнии», как и во всем нашем мире, – одним слишком тесно, другим, как вот нам, – слишком просторно. Одни вот работают там, в бурю и ветер, другие лежат и ничего не делают... Вон наверху – англичанин один занимает теперь всю рубку, в которую можно было бы пустить половину эмигрантов... И все, понимаешь, Женя, потеряли центр тяготения... И оттого-то... Ну, вот... ты, например... Положительно, – ты именно потеряла центр тяготения... И все тоже потеряли... Одни страдают в тесноте, от недостатка воздуха и простора, другие – страдают не менее среди удобств... Параллель, понимаешь ли, Женя, полнейшая... Ведь и мир, как наша «Ботния», тоже несетя среди бесконечного хаоса. И в мире, когда теряются обычные центры общего тяготения... у всех начинается своего рода морская болезнь... Люди называют это разными там вельт-шмерцами, разочарованием, тоской по идеалам, а в действительности они просто потеряли центр тяготе-

ния, и их... ха-ха-ха... просто укачивает на этой скорлупке, которую они называют землей и которая несется в океане эфира... Положительно, – гениальная параллель... А вывод?.. Угадываешь ты, Женя, вывод?..

Он замолчал, как мне казалось с некоторым лукавством, собираясь приятно удивить свою слушательницу, которая по-прежнему только слабо стонала, и затем сказал с выражением торжества и удовлетворения:

– Еще одно доказательство в пользу веры... Нужно искать центр тяготения... положительно! Непременно! И притом центр, бесконечно отдаленный, незыблемый, лежащий, так сказать, за пределами... Ну, одним словом, в вечности... и только тогда среди всех тревожных и жизненной качки можно почувствовать некоторый общий закон... И тогда все становится понятно и стройно... И качка уже не действует... Вот сейчас, когда я думал об этом, там, наверху... вижу, стоит какой-то господин... и представь: именно смотрит кверху... Понимаешь: бессознательное подтверждение верности, так сказать, моей теории... Слышишь, Женя? Ах, боже мой... Да ты, ка-

жется, вовсе не слушаешь, – закончил он с досадой...

В ответ на это послышался стон, и притом такой выразительный, что оратор сразу смолк, как-то растерянно крякнул, сказал не то укоризненно, не то сконфуженно: «э-эх...» И я услышал, как он прошел по шатающемуся полу каюты, потом по коридорчику, и затем под его шагами затрещали ступени лестницы. Он ушел, очевидно, дополнять свою теорию, оставив свою слушательницу во власти мучительного недуга.

К сожалению, я почувствовал вскоре, что и я тоже совершенно теряю «центр тяготения»...

VI

Переезд через Немецкое море до берегов Британии потребовал около тридцати часов. Первая половина пути была очень мучительна, но на следующий день ветер значительно упал.

Правда, волны все еще бежали грядками, как будто расколыхавшись за ночь, море не могло сразу успокоиться, но ветер изменился и как будто старался усмирить волнение... Он налетал навстречу волнам, заворачивал их пенистые гребни и разбивал в мелкие брызги... В этой борьбе было что-то, до такой степени сознательное и драматическое, что я невольно вспомнил классические олицетворения ветра в лице Эола и его сыновей... Море понемногу подчинялось... Пароход шел ровнее, и пассажиры выползали из кают на свежий воздух.

Зная теперь, что в лице моих соседей судьба мне послала соотечественников, я представился седому господину. Он встретил меня с какой-то радушной рассеянностью и назвал свою фамилию:

– Софрон Иванович Череванов. Это вы вчера стояли ночью на палубе и смотрели на небо?

– Да, это я...

– Самое лучшее средство... положительно... А вот это Евгения Семеновна, моя жена. Вот, Женя, наш соотечественник.

– И сосед по каюте, – прибавил я, но тотчас пожалел: Евгения Семеновна посмотрела на меня и потупилась... В ее нервном лице опять проступило выражение нерасположения и как будто гнева...

Впрочем, это скоро сгладилось... Пароход шел все ровнее, как будто успокаиваясь на ходу, и это, видимо, отражалось на расположении духа Евгении Семеновны. Ее черные глаза опять внимательно и как-то жадно следовали всюду за фигурой ее подвижного супруга, и в них я уловил несколько раз выражение как будто застенчивой просьбы о прощении.

«Это она, вероятно, стыдится вчерашнего «недостатка веры», – подумал я, невольно улыбаясь...

Вдали, еще совсем неясная, задернутая туманом, скорее почудилась, чем завиднелась,

полоска земли...

– Англия, – сказал, проходя, капитан... Все мы стали смотреть на дальнюю полоску...

Она прорезалась чуть видным, почти мечтательным призраком земли, в ярком просвете заката, между небом и морем... Небо все было обложено тяжелыми тучами, которые от преломленных лучей отливали снизу какими-то грустно-зловещими, рыжими просветами. Под тяжелыми массами облаков такое же тяжелое протянулось море с грядками рыжеватобурых волн... Косой парус, как крыло птицы, белел вдали...

Все было как-то особенно задумчиво, сумрачно и печально, и все напоминало что-то, как будто пережитое в отдаленном тяжелом сне... Берег определялся, выступал, – пустынный, обрывистый, задернутый задумчивой мглой, угрюмый...

Евгения Семеновна, которая тоже долго глядела в морскую даль, вдруг повернулась к мужу и сказала тихо:

– Точно... у Виктора Гюго...

– Что такое?.. – спросил тот.

– Первые главы... из «L'homme qui rit»[9].

Софрон Иванович оглянулся и сказал:

– Пожалуй, да... положительно...

Мне это воспоминание показалось чрезвычайно метким. Конечно, эти волны бежали из Ламанша, где еще недавно омывали берега, описанные великим поэтом... И в моем воображении живо встала поразительная картина, которую я позволю себе напомнить читателю, так как, странным образом, ей суждено было стать рамкой для небольшого последующего эпизода...

Это было в 1689 году... В бурный, кажется осенний вечер разбойничье суденышко «Матутина» оставило пустынные берега Портленда. Спасаясь от преследования властей, шайка бродяг-компрачикосов[10] покинула на угрюмом берегу беспомощного ребенка. Ребенок долго смотрел на море, по которому, утопая в сумраке, светился трепетный огонек, прыгая по гребням волн... Это «Матутина» уходила в глубь темной и беспокойной ночи навстречу своей судьбе...

На палубе разбойничьего судна находился странный человек, которого называли докто-

ром и одни считали мудрецом, другие – сумасшедшим. Доктор Гергардус Гестемунде олицетворял совесть корабля, оставившего за собой преступление и шедшего навстречу буре... Он стоял на носу корабля, всматривался в надвигающуюся бурную тьму и читал намерения бури, точно в открытой книге... «Слишком мало звезд, и слишком много ветра...» Повернувшись к капитану судна, доктор спросил:

– Который рейс ты совершаешь по Ламаншу?

– Первый, – ответил капитан.

– Он будет и последним... Слушай... Если в эту ночь, когда мы будем в море, ты услышишь звуки колокола, – знай: мы погибли... Пришло время обмыть черные души...

«Сумасшедший!» – подумал капитан, отходя, и продолжал вести судно в сгущающуюся темноту, на восток, вопреки совету доктора Гергардуса...

Всякий, кто читал это произведение Виктора Гюго, помнит замечательные главы, посвященные поэтом священному ужасу ночи и моря. *Nix et nox*[11]. Не стало ни протяжения,

ни пространства. Была только ночь и бездна... Ночь – это присутствие. Чье?.. Таинственного начала природы, которое в этом уединении говорит с душой человека... В бесконечном пространстве раздавался только рев бури... Это были крики, в которых бездна перекликалась с бездной... Они неслись от воды к воздуху, от ветра к волнам, будя какую-то таинственную связь между глубинами природы и глубиной человеческой совести...

Экипаж «Матутины» еще не понимал скрытого значения этих голосов. Бандиты радовались только свободе от человеческого преследования, пока среди шума и криков не раздался торжественный голос доктора Гергардуса Гестемунде:

– Слушайте.

Все притихли... И тогда всем ясно послышались в густой тьме бурной ночи размеренные удары колокола...

– Колокол! – крикнул капитан. – У нас земля за штирбортом.

– Нет у вас земли за штирбортом, – ответил доктор, – это... звонит море.

Тогда дрожь прошла по спинам моряков, а

доктор продолжал:

– Среди моря укреплен на якоре буюк цепями ко дну, на буйке помещен колокол. В сильную бурю, когда волны значительно раскачивают буюк, колокол звонит... Если бы мы шли правильным курсом, ветер отнес бы звуки в сторону от нас, и мы бы не слышали звона. Слышать его – значит идти на смерть... Это буря звонит нам панихиду над водяной бездной.

И, пока говорил доктор Гергардус Гестемунде, колокол звонил, удар за ударом, и этот размеренный звон, казалось, подтверждал слова старика. Бездна звонила над покойниками...

Вся эта картина ярко встала в моей памяти в этот предвечерний час на Немецком море, когда наша «Ботния» неслась по темно-рыжим волнам, грядями выбегавшим из Ламанша...

– Теперь уже так не пишут, – сказал Софрон Иванович, очевидно занятый теми же мыслями.

– Да, – подумал и я, – теперь уже так не пи-

шут, может быть потому, что наши отношения к природе меняются. Свистки пароходов разогнали «священный ужас», залегавший целыми тысячелетиями над морями. Одиссей целые годы скитался на своем плоту, чтобы доплыть от Трои до Итаки. Он видел священный ужас много раз лицом к лицу, осязал его, говорил и боролся с ним, и, по пути в Итаку, был вынужден спускаться в преисподнюю и советоваться с духами умерших... Теперь дрянной греческий пароходишко проходит это расстояние в несколько дней, и вы испытаете в пути разве одно неудобство – от излишнего обилия оливкового масла в греческой кухне.

В 1689 году экипаж «Матутины» еще слышал священный ужас в голосах ночи, перекликавшихся от бездны к бездне, а поэт прошлого века еще умел передать его с осязательностью живого ощущения. Наверное, впрочем, еще и теперь многие из той части человечества, которая пускается в море на утлых шхунах, вверяясь изменчивой власти хаоса, – слышат эти голоса в Ламанше, у берегов Бретани или на Нью-Фаундлендских мелях

среди океана... Но эта часть человечества еще ничего не знает. А те, кто знают, уже не слышат их. Садясь на пароход в Гавре или Галифаксе, счастливицы плотно завтракают или ужинают и поскорее засыпают в своих каютах, если грозит качка или морская болезнь... А просыпаясь на другом берегу Ламанша, — они выходят на благоустроенный дебаркадер и торопятся узнать, не ушел ли поезд и можно ли еще взять билеты до Лондона или Парижа, чтобы успеть к деловому собранию...

В этом есть, конечно, много утешительно-го в смысле победы человека над природой. Но иногда становится немного скучно при мысли, что великий, таинственный и загадочный мир начинает нам представляться лишь в виде каменных городов или удобной каюты. И невольно хочется думать, что, овладев пространством, отвоеванным у бесконечности, человек опять подойдет к новым ее границам и опять бесстрашно, с живым ощущением величия и тайны взглянет в глаза неведомому священному ужасу живой бесконечности...

Все эти мысли более или менее смутно

бродили в моей голове в этот вечер, и мы обменивались короткими замечаниями на эту тему с Софроном Ивановичем. Евгения Семеновна не принимала участия в разговоре и только, облокотясь на борт парохода, смотрела вдаль своими задумчивыми глазами...

Солнце еще не село, но небо все плотнее закутывалось густыми, некрасивыми и почти неподвижными облаками, которые тяжело налегали на бледную полоску вечерней зари на горизонте, светившуюся печальным красно-оранжевым светом. Свежий ветер, как будто прорываясь в эту щелку, гнал, как покорное стадо, целые гряды бурых волн, взбивал на них пену, и наш пароход мерно разрезывал эту зыбь... Берега Англии вырастали и затягивались дымною полоской бриза. На фоне свинцовых туч резались несколько парусов, сильно накренившихся по ветру, и густой хвост грязного дыма из нашей трубы волочился по верхушкам волн... Я смотрел на эти паруса и думал о разнице, существующей между человечеством, путешествующим в удобных каютах первоклассных пароходов, и теми невидимыми мне рыбаками, которые

на этих суденышках, быть может, еще в эту ночь очутятся лицом к лицу с священным ужасом. И невольно мысль бежала дальше, к тем временам, когда сила пара, электричества, света будет служить одинаково всему человечеству... Что же будет тогда? Навеки ли смолкнут голоса мировой тайны, как шум бессильного ветра за крепкой стеной, и человечество будет продолжать свой путь, самодовольно отгородившись от них в своем мире, похожем тоже на удобную каюту без разделения на классы, – или оно сознательно встанет навстречу новым тайнам бесконечности, великой и грозной?..

И вдруг, среди этих мыслей и этих разговоров, странная иллюзия поразила наш слух... Первый насторожился Софрон Иванович и обратил на нее наше внимание: среди ритмического шума волн, какой-то однообразной мелодией звучащих по бортам нашей «Ботнии», ясно слышался звон колокола...

Евгения Семеновна вздрогнула и вопросительно посмотрела на Софрона Ивановича, который взял бинокль и направил его на мо-

ре.

– Бездна звонит панихиду, – сказал я шутливо...

Софрон Иванович отнял бинокль от глаз и передал его мне.

Сначала я ничего не видел, кроме пенистых гребней, беспорядочно бившихся, казалось, у самого стекла. Однако через некоторое время в поле моего зрения мелькнул большой красный буй, свободно качавшийся на волнах. На его вершущке был прикреплен колокол, и волна, качая буюк, раскачивала вместе и колокол, который звонил размеренно и громко. Видимо, колокол говорил о чем-то проезжающим, к чему-то старался привлечь наше внимание. И действительно, когда волна качнула буй и промчалась дальше, на выпрямившемся боку его совершенно ясно выступила надпись.

Она заключала только два слова:

«Pears Soap!»

Что значит в переводе: «Мыло Пирса».

Ничего больше на буюке не было: ни адреса, ни цены, ни рекомендации полезного фабрикаата, о котором, признаюсь, я не имел до

тех пор ни малейшего понятия. «Мыло Пирса». С этими двумя словами, краткими, определенными, несложными, современная бездна обращалась к нам, современным путешественникам...

Я невольно засмеялся и передал бинокль Евгении Семеновне... Она посмотрела на бук, посылавший нам свой звон как бы вдогонку, и затем с привычным ожиданием обратила глаза на мужа. Софрон Иванович был серьезен...

– Что вы об этом думаете? – спросил он, как будто не заметив моей улыбки.

– Что ж, Софрон Иванович, – ответил я все так же шутливо. – Мне это очень нравится. Во-первых – остроумно, а во-вторых, как хотите, в этом есть много утешительного... Вместо зловещих *Nix et pox*, вместо священного ужаса, вместо голосов, вещающих из тьмы о гибели и загробной тайне, – здесь стоят два простых слова, выражающих полное доверие к нашему будущему... Вы чувствуете, что неизвестный вам Пирс ни мало не сомневается в благополучном окончании вашего путешествия и переносит ваше воображение к тому

времени, когда, в удобной гостинице на берегу, вы почувствуете потребность в куске хорошего мыла... и portentosum mare[12], некогда столь ужасное, теперь дружелюбно предупреждает вас от ошибки: помните – лучшее мыло есть мыло Пирса...

По-видимому, господин Череванов был мало доступен юмору. Он сдвинул свои густые красиво очерченные брови и дослушал мою шутивную речь с видом сурового неудовольствия, которое на лице его молодой подруги приняло форму явного осуждения...

– Извините, – сказал Софрон Иванович. – Я смотрю иначе... Природа есть все-таки храм... А эти господа оскверняют храм своим торжищем.

В глазах его вспыхнуло какое-то особенное одушевление, и он посмотрел на Евгению Семеновну, как будто напоминая ей о чем-то, известном им обоим.

– И я уверен, – настанет время... и оно близко... когда торгующие будут изгнаны из храма...

Тон его становился торжественным, а на лице Евгении Семеновны опять вспыхнуло и

застыло то самое выражение, с каким и она и неизвестный мне белесый господин слушали слова Софрона Ивановича в копенгагенском музее...

Признаюсь, этот оборот нашей беседы и удивил и заинтересовал меня, хотя не скажу, чтобы он был способен сразу вспугнуть юмористический оттенок, окрасивший для меня весь этот маленький эпизод. Во всяком случае мне хотелось продолжить разговор, но в это время отвратительно резкий, колеблющийся и завывающий звук гонга напомнил нам, что стюарт парохода «Ботния» считает себя обязанным предложить оплаченный уже нами ужин ранее, чем мы пристанем к берегам Англии, тянувшимся уже на северо-западе заметной грязно-синей грядой.

Софрон Иванович как-то задумчиво поднялся и пошел по направлению к рубке, как будто совершенно забыв о своей молодой спутнице, которая была все еще несколько слаба после вчерашней «утраты веры»... Я предложил ей свою помощь, которую, с некоторым колебанием, она застенчиво приняла, предварительно кинув на меня из-под опу-

ценных ресниц смущенный взгляд, как будто выпытывавший – замечаю ли я неловкость поведения Софрона Ивановича и не осуждаю ли его за это... Я по возможности просто протянул ей руку.

Пароход все-таки покачивался... Она ступала немного неловко, наступая на платье и запинаясь, как человек, глубоко страдающий за другого и смущенный.

– Вы знаете, – сказала она вдруг тихо и как бы невольно уступая какому-то внутреннему, сильно волнующему побуждению... – Софрон Иванович... это такой человек... Конечно, он мой муж и может... вы подумаете, что мне бы не следовало... Но я не могу... Скоро вы услышите... я хочу сказать, скоро все услышат и тогда узнают... и вообще...

Она окончательно смутилась... К счастью, мы были уже у порога каюты, который и переступили при последних словах. Софрон Иванович уже сидел на дальнем конце стола, кажется, беззаботно заняв чужое место. По крайней мере, долговязый англичанин подошел было туда, остановился и, видя, что Софрон Иванович его не замечает, направился к

трем свободным приборам, назначавшимся, очевидно, для нас, троих земляков.

Евгения Семеновна еще гуще покраснела своим мучительно нервным румянцем и заняла место между мною и долговязым англичанином. И мне опять пришлось сделать вид, что я не замечаю новой неловкости Софрона Ивановича, который, как ни в чем не бывало, вступил уже в разговор со своим соседом.

По-английски он говорил хорошо. В его манере держаться, несмотря на рассеянность, проглядывала привычная благовоспитанность. И было заметно, что за нашим столом все признавали Софрона Ивановича, быть может, несколько эксцентричным, но во всяком случае наиболее интересным джентльменом из нашей случайной паровой компании.

VII

В этот вечер мы высадились в приморском городе Гарвиче, откуда нам надлежало по железной дороге ехать в Лондон. Этот переезд мы опять совершили вместе...

За это время мне удалось узнать из коротких разговоров и намеков, что Софрон Иванович с женой останутся в Лондоне недели на две, а может быть, и дольше. Может быть, даже они и совсем не поедут дальше, хотя... едва ли. Это будет зависеть от того, найдутся ли в Лондоне какие-то подходящие люди для какого-то пока для меня таинственного дела, которое Софрон Иванович пытался осуществить на родине. «Но вы знаете... у нас все это так трудно...» – тихо и таинственно сказала мне раз в вагоне Евгения Семеновна. И ее глаза с восхищением и лаской глядели при этом на Софрона Ивановича, в это время высунувшегося из окна и наблюдавшего английский пейзаж.

– Все разделено на клочки... ничего общего... – сказал он, повернувшись к нам и указывая за окно, где под лунным светом лежали

равнины, кое-где сверкало белое электричество и вились в ночном воздухе клубы дыма...

Наконец поезд побежал между рядами зданий, то ныряя в туннели, то выбегая на подьемы, – причем ряды однообразных, похожих на каменные ящики зданий оказывались под нами, – то опять скрываясь в узких каменных коридорах, освещенных огнями. Поезд летел быстро, и по стенам мелькали какие-то надписи. Сначала они проносились перед глазами точно струи, сливавшиеся в одну пеструю полосу, потом, когда поезд стал замедлять ход, – можно было разобрать отдельные буквы, слова...

Они опять были чрезвычайно несложны. По одной стене непрерывно бежали, чередуясь, два слова:

– Stephens inks, Stephens inks, Stephens inks.

И так без конца... На другой стене с такой же настойчивостью лезла в глаза, в воображение, в память знакомая уже нам фраза: Pears soap... Pears soap... Pears soap...

Это были первые понятия, которые величайшая столица в мире старалась внедрить в умы иностранцев, с благоговением въезжав-

ших в ее пределы...

«Чернила Стефенса»... «Мыло Пирса»...

На дебаркадере мы расстались... Я сказал, что мне рекомендовали остановиться на Piccadilly, в отеле...[13], надеясь, что мои соотечественники, быть может, выразят желание остановиться там же. Но ни Софрон Иванович, ни Евгения Семеновна не обратили ни малейшего внимания на мой намек, и я скоро потерял их в суতোлке и толчее лондонского вокзала.

Таким образом лондонские впечатления нам пришлось переживать порознь. Это было в 1894 году[14], когда великая драма Гладстона[15], связавшего политическую судьбу своих последних годов с ирландским биллем, была в апогее. Газеты, листки, карикатуры носились по Лондону, как листья в осеннюю бурю, дебаты в парламенте становились все напряженнее и страстнее, и наконец...[16] июля напряжение разразилось небывалым скандалом: джентльмены «высокого дома» подрались в палате, и лондонские улицы с каким-то злорадством звенели на все лады: «драка, драка в доме», «уличная драка в до-

ме».

В этот самый день я получил надежду проникнуть в парламент. Это – не так легко для туриста, но некоторые мои знакомые уладили это дело, и я очень пожалел, что не могу в свою очередь оказать протекцию моим случайным спутникам по «Ботнии».

Вечером этого дня я сидел на скамье, в сквере у памятника Веллингтона[17], отдыхая от дневных впечатлений и глядя на улицу и на пешеходов, проходивших мимо меня по панели. Это была по большей части деловая лондонская толпа, спешившая по домам после дневной работы...

Вдруг в этой незнакомой толпе появилась фигура Софрона Ивановича. Он шел один и казался чем-то сильно озабоченным. Когда я окликнул его, он остановился, оглядываясь с недоумением вокруг, и двинулся было далее, так что мне пришлось повторить свой оклик.

– А, это вы? – сказал он как-то рассеянно, садясь рядом со мною. – Осматриваете Лондон?

– Да, – ответил я, – я еще многого не видал. А вы, Софрон Иванович?

– Что? Я? Да у меня, знаете, дела... особые... Мне некогда осматривать достопримечательности... Впрочем, был... в Вест-Энде...

– А Евгения Семеновна?

Он ответил не сразу, как будто не поняв вопроса, и потом сказал рассеянно:

– Благодарю вас...

Я невольно улыбнулся, но тотчас же вспомнил с некоторой грустью свой номер в Эссбиерге и два черных глаза, с нетерпением глядевшие в щель приоткрытой двери... Мне представилось, что теперь молодая жена этого седого господина опять так же нетерпеливо глядит в коридор лондонской гостиницы...

– Читали вы, Софрон Иванович, о сегодняшнем событии?

Он посмотрел на меня недоумевающими глазами и спросил:

– Что такое?.. Ах, вот что! Да, слышал, что-то кричали на улице.

Лицо его несколько оживилось, и, повернувшись ко мне, он сказал:

– Прежде, когда-то, меня это все интересовало, то есть вся эта политика там и суета в этом старом мире...

– А теперь?

– А теперь нет... Все это от ветхого человека... Спасение не там...

Я ждал с понятным нетерпением, что он скажет, в чем именно спасение, и, таким образом, я узнаю, наконец, с кем, собственно, имею дело в лице этого загадочного соотечественника, но он замолк. И вдруг лицо его опять изменилось: густые брови сдвинулись, синие глаза засветились прежнею бодростью и почти детской надеждой.

– Да, положительно!.. Старый мир сгнил, или вернее – замер, застыл, одервенел в своих старых формах... Надо ехать в Америку... Положительно... отрясти старый прах от ног. Здесь все насквозь прохвачено этой конкуренцией, и за суетливыми криками этих... негодяев люди не услышали бы даже Христа, если бы он вторично явился в мир... Посмотрите вот сюда... Видели вы эту картинку?..

Невдалеке, на транспаранте красивого киоска, освещенного изнутри, виднелся недурно исполненный снимок с известной мраморной группы: старая женщина моет губкой мальчишку, который противится и старается вы-

рваться. Фигуры дышали необыкновенной правдой и искрящимся, захватывающим юмором. Внизу большими буквами стояли знакомые два слова: «Pears soap...», и надпись помельче гласила, что статуя знаменитого скульптора, удостоенная на выставке золотой медали и обратившая на себя внимание всех ценителей искусства, – приобретена фабрикантом мыла, мистером Пирсом. «Воспроизведение запрещено».

Художник мог, пожалуй, чувствовать некоторое удовлетворение: его группа в миллионах снимков разного достоинства, от настоящих художественных эстампов до простых литографий, мелькала теперь всюду. Я вспомнил, что видел ее еще в Копенгагене, а теперь в Лондоне она кидалась в глаза на столбах, стенах, заборах, ограждающих новостроящиеся дома. Мистер Пирс прибавил к произведению художника только один интересный комментарий: очевидно, старая женщина в своей заботе о чистоте лица любимого внука предпочитает мыло Пирса всякому другому фабрикату того же рода... Я много раз проходил на улицах мимо этой группы, правду ска-

зять, не обращая внимания и не замечая ее, как Софрон Иванович не заметил события в парламенте. Очевидно, у него был свой угол зрения и свое избирательное внимание среди пестрой лондонской жизни...

– Да, вот вам, – сказал Софрон Иванович, – эмблема этого старого мира: все в жертву конкуренции и рекламе. И вы думаете, что его мыло действительно лучшее?.. Сочтите, сколько он тратит на эти рекламы, на то, чтобы загадить землю, море и даже небо своими зазываниями... ведь все это трата в общей экономии человечества... Вы знаете... ведь он теперь действительно пытается поместить свою рекламу на небе.

– Вы смеетесь?.. – сказал я, улыбаясь.

– Что вы? – ответил Софрон Иванович с удивлением. – Да ведь весь Лондон заинтересован этими попытками... Жаль, мне надо идти, – прибавил он торопливо, поглядев на часы, – а вы вот посидите еще полчаса и посмотрите на небо... Да... – прибавил он, поглядев кверху, – небо облачно, наверное вы увидите.

Он пожал мне руку и сказал:

– Да, да! в Америку, положительно. Вы слышали: Бус тоже переносит в Америку центр тяжести своей деятельности. И отлично, я давно ему писал об этом. Он шел старой дорогой и старался перекричать этих негодяев. Нет... нужно проложить новые пути... Положительно... Однако прощайте. Мы – в Америку!

– Я тоже, Софрон Иванович. Вы когда?

– Да вот скоро пойдет «Aurania»... Из Ливерпуля...

И, еще раз пожав мою руку, он смешался с толпой. Его походка опять была по-прежнему уверенная, и выражение некоторой подавленности, которую я заметил в первую минуту, совершенно исчезло. Очевидно, – подумал я, – в Лондоне нет «подходящих» людей для загадочного дела, о котором обмолвилась в вагоне Евгения Семеновна, и Софрон Иванович несет свои надежды за океан...

Однако слова его о попытках мистера Пирса начертать на небесах свое достославное имя заинтересовали меня, и я решил остаться в сквере еще некоторое время...

Между тем опыты мистера Пирса, по-видимому, были действительно широко известны,

и по мере того, как вечерний сумрак все более сгущался, небольшой круглый сквер наполнялся людьми. Они входили с улицы, садились на скамейки или останавливались группами и часто поглядывали на небо. Слышались разговоры, шутки и смех, но общая нота всего этого шума было все-таки внимание.

Я тоже посмотрел кверху. Небо было сумрачно. Облака передвигались тихо, почти незаметно, и мне чудилось в этом движении что-то сознательно угрюмое и затаенное...

И вдруг в этой тьме, казавшейся еще глубже от уличного света, пронесся, быстро колеблясь, синевато-белый столб электрического света... Он промчался гигантским радиусом от края до края неба, потом, вздрагивая, поднялся кверху и как бы уперся в сумрачную пелену облаков...

В толпе, которая к этому времени густо набилась в сквере, послышался какой-то особенный ропот. Все головы поднялись кверху и застыли в этом положении. Даже, казалось, немолчный грохот Лондона на несколько мгновений ослабел. Взглянув на улицу, я уви-

дел, что густой поток уличного движения ударился точно в плотину... Невдалеке от панели проезжал омнибус, огромный, как корабль, и кучер, в клеенчатом шлеме, сильно напоми- навший сложением, а также ярким цветом лица и носа прославленного Диккенсом ми- стера Уэллера старшего[18], – инстинктивно затянул вожжи и глядел кверху... Кебы наез- жали на эту уличную баржу, как бы севшую на мель, и кебмены, в свою очередь, задерги- вали лошадей. Только величавый полисмен в остроконечной черной каске уже бодрство- вал, подымая кверху свой жезл, да высоко на вершине колонны статуя Веллингтона стояла в застывшей позе...

За первым столбом света промчался дру- гой, за ним третий, потом все они слились в одну широкую полосу, точно гигантская ко- лоннада, и стали неподвижно.

И было видно, что их вершины упирались в туманный полог, который так же тихо про- двигался в своей воздушной дали, колеблясь в освещенном пространстве неровной по- верхностью... Казалось, какая-то призрачная армия проходила в небесной глубине, молча-

ливая и медлительная – под этим враждебным ей светом...

И вдруг – новый ропот толпы отметил новое явление... На туманной пелене в одном месте загорелось пятном что-то чуждое ее очертаниям, какие-то линии и формы. Но тотчас же эти не успевшие определиться линии исчезли, как будто чья-то невидимая рука стирала их по мере появления.

Это длилось минут двадцать, в течение которых уличное движение рокотало замедленным темпом, а толпа в сквере смотрела в глубоком молчании на борьбу, происходившую в небесной вышине... Светлые линии и темные промежутки возникали на туманном фоне облаков, ломались, исчезали, опять загорались, но невидимая рука все так же неуклонно стирала буквы, прежде чем они успевали определиться хотя бы ясным намеком... Потом, как будто им надоели эти настойчивые попытки, облака задвигались быстрее. Клок тумана поплыл ниже общей массы, ворвался в огненный столб, затенил верхушки, потом тучи расступились, и свет проник точно в глубокий провал... Все пришло в беспорядок и су-

мятицу... Становилось ясно, что, по крайней мере, в этот вечер господину Пирсу не удастся начертать свое славное имя огненными буквами на лондонском небе...

Столбы электрического света тронулись с места и погасли где-то за высокими крышами, улица загудела обычным ритмом, народ расходился со сквера, перекидываясь громкими шутками. Кое-где слышался свист, и звонкий мальчишеский голос выкрикнул несколько раз:

– Нip! Нip! Hurra!..

Другие подхватили. Неизвестно было, однако, к кому относятся эти одобрения: к господину Пирсу за его смелую попытку или к туманному небу, так победоносно ее разрушившему.

Теперь оно опять было темно... Тучи шли куда-то своим путем, молчаливыми толпами, и как будто спускались все ниже... Через час улицы Лондона были окутаны густым туманом...

VIII

«Чернила Стефенса»... «Мыло Пирса»...
«Мыло Пирса»...

Этими же словами, изображенными вдоль ограждений железной дороги, напутствовала меня великая столица Англии, когда поезд уносил меня от центра города по направлению к Ливерпулю и океану...

Наконец это кончилось... Надписи, туннели, трубы, серые крыши домов остались позади, Лондон затягивался какой-то тучей мглы и дыма, а в окно вагона повеял вольный ветер полей...

И невольно особенности английского пейзажа стали завладевать моим вниманием.

По небу быстро неслись разорванные облака, ярко-белые, рыжеватые, синие, то закрывая, то опять открывая глубокую лазурь неба... А вдали были видны в разных местах косые столбы дождя. По временам крупные капли, как бы шая, стучали по стенкам нашего курьерского поезда и опять проносились дальше, уступая место яркому солнцу, золотившему свежую зелень омытых дождя-

ми лугов...

И мне казалось, что во всей стране есть какое-то особенное, трудно уловимое, но нигде еще мною не виданное выражение...

Земля всюду обработана, разделена до последнего клочка. И однако, мой русский глаз напрасно искал этих бесконечных нив, по которым наш ветер такой свободной волной проносится от горизонта до горизонта. Здесь всюду зелень деревьев преграждала дорогу жадному до простора взгляду. А между тем, в сущности, нигде не было также видно наших лесов, лежащих такими определенными дремотными пятнами на желтом фоне полей... Вглядываясь внимательно, я разглядел, что здесь, действительно, нет уже ни нашего поля, ни нашего леса. Земля разбита вся на маленькие участки, и каждый участок обнесен живою изгородью. И эти-то линии изгородей, состоящих из старых деревьев и изрезавшие всю страну, сливаются в дали в сплошные массы, зеленые, бурые, фиолетовые, глубоко синие на самом горизонте... И что ни дорога – то белая утрамбованная аллея в зеленых стенах, что ни коттедж, то подобие беседки,

выглядывающей из зелени сада... И вся страна действительно производила впечатление сплошного сада, где всякий клочок уже возделан человеком.

Я долго следил глазами за небольшой речушкой, которая с некоторых пор бежала рядом с насыпью железной дороги. Теперь уже трудно было сказать, что это такое – природная речка или искусственный канал. Когда-то, очевидно, это была небольшая речонка, из тех, что бурлят у нас веснами и совершенно пересыхают летом, теряясь в бочажинах и кочковатых болотах, населенных комами и лихорадкой. Но здесь давно уже, быть может сотню лет назад, человек взял ее под свое покровительство, оградил в низинах, выровнял берега, прорезал холмы, поднял в долинах на высокие насыпи, так что узенькие барчонки с тонкими мачтами проплывали порой над нашими головами...

В одном месте поперечная гряда холмов перегородила нашу дорогу, и впереди зачернело зияющее отверстие туннеля. Я с некоторым участием следил за нашей речушкой, и как только поезд, прогудев в темной трубе

туннеля, вырвался на волю, и перед моими глазами раскинулась новая равнина, — я опять нашел светлую полосу воды. Она выходила невдалеке, тоже из туннеля, и опять плавными линиями подходила к железной дороге... А на ее искусственных берегах густо и роскошно раскинули свои зеленые шапки столетние осокори, ветлы и вязы, как бы свидетельствуя о том, что у этой укрощенной речушки есть уже своя история, измеряемая несколькими поколениями людей, быть может давно истлевших в могилах...

В этом была своя красота, тихая, своеобразная, невольно просившаяся в душу... Над этими разделенными полями, над изгородями, сливавшимися в леса, над аллеями дорог и над обработанными речками раскинулось то же небо, веяли те же ветры, светило то же солнце, и проносились, как и над нашим простором, божьи грозы... И теперь вдали облака набрались в огромную задумчивую тучу, переливавшуюся огнями зарниц, а в другой стороне горел закат, как-то любовно и ласково прощаясь с землею...

И мне казалось, что во всем этом своеоб-

разном пейзаже чувствуется новая стихия, — человеческий труд, изменяющий поколениями самое лицо земли...

Но все-таки из-за этой тихой прелести проглядывало какое-то смутное ощущение печали и неудовлетворенности... Вечер давно спустился на землю, яркие звезды горели меж облаками в синем небе, разрозненные огоньки коттеджей сверкали на потемневшей равнине. Порой огни сходились большими стаями, и из темноты, обвеянный дымом фабрик и мутными пятнами электрического света, навстречу поезду выдвигался какой-нибудь город... А за ним опять темный простор и отдельные огоньки над отдельными клочками засыпающей земли...

Мне невольно вспомнился Софрон Иванович и его восклицание в первый день нашего пребывания в Англии. И, сидя против открытого окна в пустом купе, в котором я теперь ехал один, я отдавался очарованию чудной ночи и ее особенной печали, невольно приплетая сюда воспоминания о загадочном соотечественнике. Я уже знал наверное, что ему не понравился бы этот пейзаж и что он смот-

рел бы на него особенным взглядом. И я чувствовал в своем настроении отражение этого взгляда – в этом оттенке неудовлетворенности и грусти...

«Что это такое? – думал я, анализируя свои впечатления. – Привычный романтизм «пустынных мест» и нетронутой природы, отрицание культуры, «искажающей» красоту божьей земли...» – Нет. Я ясно ощущал в душе величие и мирную красоту труда, новой грандиозной стихией залегшего над этой страной и давно уже не искажающего, а только преобразующего лицо земли...

Но понемногу из смутного тумана новых впечатлений стало выступать в виде вопроса – неясное желание... Мне хотелось думать, что когда-нибудь лицо земли еще раз может преобразиться... Земля опять скинет с себя эту пеструю сеть линий, границ, дорог, дорожек и изгородей... И над освобожденным простором раскинутся новые черты, нанесенные уже по грандиозному плану всего человечества...

И мне казалось, странным образом, что это я угадываю чьи-то мысли и что это мысли Со-

фрона Ивановича, который стоял будто рядом со мною, указывая рукой в темное окно, между тем как Евгения Семеновна смотрела на него своими глубокими восхищенными глазами.

Протяжный свисток вывел меня из этой очарованной дремоты... Я проснулся, оглядываясь с удивлением в пустом купе. Сон был так ярк, что некоторое время мне не верилось, что я еду один... Поезд замедлил ход, в окно по-прежнему веял ветер. Впереди темнота ночи уже была вся пронизана огнями... Мы подъезжали к Ливерпулю... А там за городом чувствовался какой-то особенный таинственный простор, по которому кое-где отдельными точками тихо сновали и передвигались огоньки кораблей... Это уже было море...

IX

Древние, отправляясь в путь на своих сельных кораблях, приносили гекатомбы Посейдону[19], и, надо сказать правду, коварный бог часто получал свою плату даром, обманывая доверчивых плательщиков. Современный человек приносит свои жертвоприношения мистеру Куку, директору особого агентства, снабжающего путников билетами хоть на северный полюс. Этот современный Посейдон гораздо добросовестнее своего прототипа: подъехав на небольшом катере к борту «Урании», гигантского парохода Cunard and Co, стоявшего в ливерпульской гавани, я имел приятный случай убедиться в могуществе мистера Кука. Я в первый раз видел «Уранию», и «Урания» тоже не подозревала ранее о моем существовании. И, однако, меня здесь уже ждали. На дверях одной из кают на меня взглянула карточка с моей фамилией, а в груди лонгшезов, сваленных пока у пароходного борта, был один, на спинке которого я прочел фамилию: Mississ Eugunie Tcherevanoff.

Итак, я не ошибся: мои соотечественники

ехали на том же пароходе. Действительно, с последним рейсом их доставил на борт «Урании» тот же катер, привезший из Ливерпуля последний транспорт пассажиров и их багажа...

Ирландский пролив мы прошли ночью, наутро остановились ненадолго у южного берега Ирландии, и в тот же день нашу «Уранию» уже качала волна открытого океана...

Большинство пассажиров парохода составляли англичане и ирландцы, и это налагало на весь наш пловучий мирок особый отпечаток какой-то чопорной замкнутости и холодности. Первые дни вдобавок дул опять «свежий ветер», вздымавший на океане целые горы, и мы шли среди качки, белых гребней пены, плеска волн и тучи брызг, проносившихся над высокими бортами гигантского парохода. В узких коридорах стояла томительная тишина, прерываемая лишь гулом океана за бортами и заглушёнными стонами в каютах...

Я целые дни проводил на палубе, стараясь глядеть вдаль или на высокое небо, вырабатывать «морской шаг» (отыскивая центр тяготения – по терминологии Софрона Ивановича-

ча) и не терять ощущения особенной поэзии этого бесконечного, вечно живого простора. Это помогало, и уже на третий день морская болезнь не имела надо мной никакой власти. Евгения Семеновна совсем не показывалась на палубе, очевидно опять поддавшись «маловерию», а Софрон Иванович пропадал во втором классе, иной раз пропуская сроки обеда и порой по рассеянности занимая чужие места. Чопорный лакей во фраке подходил тогда к нему и с иронической почтительностью уводил его к назначенному для него стулу. Публика, по-видимому, не обращала внимания на странного старого джентльмена, которого нередко можно было видеть за цепью, отделявшей фешенебельное общество от низшего класса. Нередко также он проводил целые часы за письменным столом в общей зале, раскидав по столу какие-то исписанные листы и чертежи...

Дня через три-четыре ветер несколько стих, пароход качался меньше и ровнее, а публика понемногу привыкала, и жизнь на пароходе входила в колею: за столами во время обеда и завтрака оставалось менее пустых

мест, а на палубе, за ветром, на спокойных лонгшезах появились бледные дамы и джентльмены, плохо выносившие качку и до этого дня скрывавшие свои страдания за дверями кают... Английская молодежь затеяла даже игры в какие-то кольца, кое-где загорался легонький флирт, в небольшом зале раздавались звуки рояля и порой пение... По вечерам, после ужина, в smoking room'e[20] стояли непроглядные клубы дыма, и шла своеобразная, но очень азартная биржевая игра. Предметом ее являлся вероятный курс парохода. Каждый день около полудня капитан со своим секстантом производил определение широты и долготы, и перед обедом на стенке общего зала вывешивалась табличка с цифрами пройденного пути. Противный или попутный ветер, туман, встречное волнение – все это влияло на быстроту хода и все учитывалось по вечерам на своеобразной бирже. Проигравшие расплачивались, а затем толстый американец, низкий и круглый, как бочонок, не выпускавший изо рта огромной сигары, сел на председательское место и начинал выкрикивать новые цифры...

Однажды в этой тесной каюте, заполненной клубами сигарного дыма, где я наблюдал игру, появилась вдруг высокая фигура Софрона Ивановича. Очевидно, он зашел сюда случайно, остановился на пороге и с нескрываемым изумлением оглянулся кругом на возбужденные и красные лица игроков, в этот день переживших какой-то особенный курсовой кризис. Его высокая фигура с шапкой кудрявых белых волос, а главное, выражение его лица, сначала изумленного, а потом откровенно наблюдающего, как естествоиспытатель мог бы наблюдать неожиданно встреченное стадо редких животных, – все это было так неординарно и внушительно, что на мгновение толстый американец остановил приподнятую руку с молоточком, которым выстукивал свой аукцион, и как бы застыл в ожидании. Потом он вынул изо рта свою сигару, положил ее около себя на стол и сказал с легкой иронией, обращаясь прямо к Софрону Ивановичу:

– Please, sir...[21] Ваша ставка?

В компании молодых людей, по-видимому членов какого-то спортивного общества, при-

нимавших большое участие в игре, послышался довольно неделикатный смех. Было заметно, что Софрон Иванович служил уже предметом разговоров этого общества. Он посмотрел на толстого джентльмена своим наивно светлым взглядом и, ничего не ответив, повернулся к выходу.

Когда заседание кончилось и все вероятные курсы были разобраны, председатель, опять вынув изо рта сигару и окинув собрание своими выпученными глазами, сказал:

– Я хотел бы знать: кто этот седой джентльмен?

– Венгерец, – сказал кто-то.

– Русский, – с уверенностью ответил другой.

– Профессия?

– Не знаю...

– Ставлю пять фунтов: ученый.

– Проиграете, сэр. Я уверен, что он техник. Он занят какими-то чертежами.

– Философ.

– Эсквайр...

– Последователь Леона Толстого...

Начались шуточные прения, в результате

которых Софрон Иванович, в свою очередь, послужил предметом пари между председателем и одним из английских спортсменов... Когда пари было заключено, американец повернулся ко мне и сказал на ломаном французском языке:

– Простите, мосье. Вы, кажется, тоже русский и, без сомнения, можете разрешить наш спор.

Я разочаровал достойного джентльмена: я сам ничего не знаю о профессии моего соотечественника.

– Но что вы думаете?

– Ничего определенного, сэра. Мне кажется, – он был в военной службе...

– А теперь?..

– Я думаю, что он изобретатель и едет на выставку.

– Но его фамилия вам известна?

– Она не разрешает вопроса...

– Не разрешает вопроса? – с оттенком удивления сказал американец. – Я готов был держать сто против десяти, что этот джентльмен очень известен в своем отечестве...

Когда я вышел из каюты, океан гудел и за-

плескивал волнами на верхнюю палубу, которая уже опустела. Только в одном месте, в укромном уголке, защищенном от брызг, виднелась группа людей, слабо освещенная электрическим рожком.

Я узнал их: это был мистер Генри Бус, сын и старший адъютант генерала Буса, вождя Армии Спасения. С ним была его молодая жена, капитан Армии; прелестный белокурый мальчик, еще, по-видимому, не имевший никакого чина, спал под грохот океана, положив голову на колени матери, и молодая девушка, бонна, записанная в пароходную книгу как рядовой той же знаменитой Армии, почтительно стояла в стороне. С ними сидел теперь Софрон Иванович, и они о чем-то тихо разговаривали, стараясь не разбудить мальчика...

Я давно уже с большим интересом следил за этими фигурами.

Мистер Бус, адъютант, был высокий, худощавый джентльмен, несколько напоминавший по общему виду благородные черты Дон Кихота. Впрочем, лицо у него было спокойное и серьезное, даже деловитое. Капитан Лилиан Бус, его супруга, была молодая дама, с чрезвы-

чайно приятным лицом и бесконечно добрыми глазами. Они держались всегда в стороне, ни с кем не знакомились и целые дни просиживали вместе, глядя на океан и по временам обмениваясь тихими фразами. Они имели вид людей, с глубоким наслаждением предающихся короткому отдыху. В глазах миссис Бус виднелась какая-то добрая печаль, и только когда к ней подбегал кудрявый белокурый мальчик, – в этих глазах загоралась искра радости, освещавшая все лицо необыкновенно привлекательным светом... Молодая девушка, очевидно, «денщик капитана Армии», относилась к ней с оттенком какой-то ласковой подчиненности... И было так странно подумать, что этот джентльмен и эта молодая дама, в каждом движении которых было столько серьезного достоинства, – едут в Америку, чтобы начать в Новом Свете свою старую кампанию против дьявола; что, быть может, еще недавно они шли против devil'a[22] в атаку под бой барабанов, визг рожков, иступленные бесноватые крики «спасенных» ханжей и юродивых разного возраста и пола...

Теперь меня удивила простота и свобода,

с которой Софрон Иванович успел примкнуть к этой замкнутой компании. Мне показалось неловким нарушать их уединение в занятом ими укромном уголке, и только раз, пройдя мимо, я услышал, как Софрон Иванович говорит мистеру Бусу:

– Нет, сэр, как хотите... И вы тоже от старого мира... Нужно не это, сэр. Нет, не это...

Мистер Бус молчал, глядя серьезными глазами в светящуюся даль взволнованного океана, а в лице капитана Лилиан Бус, обращенном к Софрон у Ивановичу, я прочел легкую улыбку уверенности... Казалось, она с любопытством смотрит на этого странного человека, который позволяет себе сомневаться в единственном пути спасения, по которому она идет рядом со своим начальником и мужем.

Я более не подходил к ним и только издали следил за этой группой у газового рожка. И мне казалось, что на нашем пловучем мире – это еще особый мирок, не имеющий ничего общего с остальным населением, но связанный таинственными узами какого-то особого родства...

«Кто же, в самом деле, этот мой соотечественник?» – думал я, засыпая на своей колеблющейся койке под мерный плеск океанской волны...

На десятый день над океаном в юго-восточной стороне показалась тонкая игла маяка... На пароходе все пришло в движение, и на палубе появилась даже Евгения Семеновна. За весь путь это случалось только раз три, – все остальное время она страдала у себя в каюте... И когда она бывала на палубе, Софрон Иванович, как всегда, обращал на нее мало внимания. Я старался оказывать ей мелкие услуги, которые она принимала с обычным видом печали и какого-то затаенного неудовольствия... Один раз, сидя в ясный день рядом с ее лонгшезом, я старался развлечь ее разговором и, между прочим, осторожно, в шутливом тоне, рассказал о пари, которое американец заключил относительно профессии ее мужа, и о том, что, по его мнению, Софрон Иванович должен быть знаменитостью своей страны.

На ее истомленном лице при этом проступил признак румянца.

– Правда? – сказала она с какой-то застенчивой радостью, и потом, с приливом удивившей меня откровенности, она сжала мою руку и сказала, разыскивая глазами высокую фигуру мужа: – О, вы его еще не знаете... конечно. Но... вот вы увидите, увидите скоро...

И мне показалось, что на этот раз теория Софрона Ивановича еще раз восторжествовала. В глазах бедной женщины засветилась какая-то энергия, победившая ее расслабленность и утомление. Пароход по-прежнему качался, и белые гребни волн мчались мимо с головокружительным однообразием, но она как будто не чувствовала качки. Зрачки ее черных глаз расширились, жадно вглядываясь в вырвавшуюся на горизонте полосу Нового Света. И в этих глазах, несомненно, светилась вера.

На следующий день наш пароход подтягивался к бухте Нью-Йорка. Первыми вошли к нам таможенный чиновник Соединенных Штатов, доктор и два очень юрких джентльмена с записными книжками в руках. Один из них быстро направился к семье Бусов, стоявших у борта. Адъютант Генри Бус был в

форменном мундире с позументами, а прелестное лицо капитана Лилиан Бус выглядывало из безобразного капора, на лентах которого виднелась надпись: Army of Salvation[23]. Такой же капор был на бонне-денщике... Очевидно, все они вступали в отправление своих обязанностей, так как на плоту у ближайшей пристани виднелась кучка людей, махавших какими-то флагами и привлекавших общее внимание шумными криками, визгом и свистом... Мистер Бус кланялся, улыбаясь и небрежно отвечая на расспросы репортера. Армия Спасения вообще не в особенно хороших отношениях с прессой и сама заботится о рекламе.

Другой репортер остановился на палубе, окинул ее быстрым, пытливым взглядом и решительно направился туда, где над толпой пассажиров виднелась выразительная фигура Софрона Ивановича. Через некоторое время карандаш молодого американца быстро забегал по листкам записной книжки, жадно улавливая сведения, которые Софрон Иванович с великолепным видом полуюмористического снисхождения кидал ему с высоты свое-

го монументального роста.

Я подошел к Евгении Семеновне, которая стояла около чемоданов, взволнованная видом Нового Света... Мне хотелось попрощаться с нею и спросить, где они думают остановиться, и не пожелают ли они встретиться со мною в этой чужой стране.

– Ах, но ведь я этого не знаю, – сказала она, сконфуженно улыбаясь. – Я спросила бы у Софрона Ивановича, но... вы видите – он теперь занят...

В ее голосе слышалась какая-то осторожная почтительность, и, покраснев еще гуще, она прибавила:

– Ведь это репортер, не правда ли? И почему он сразу подошел к Софрону Ивановичу?.. Я думаю, это хорошее предзнаменование?..

Я не знал, какое предзнаменование связано с фигурой газетного репортера, и сказал только:

– Софрон Иванович вообще имеет дар привлекать общее внимание...

– Да? Правда? И вы это заметили... Он принципиальный враг всякой рекламы, но... о, если бы вы только знали... Боже мой...

Здесь такая толпа... Прямо страшно... И все-таки – ведь вот этот господин прямо подошел к Софрону Ивановичу...

Мне пришлось сойти вниз за своими вещами, и когда я опять поднялся на палубу, – трап был спущен, пассажиры сходили на пристань. На том месте, где еще недавно стоял Софрон Иванович, оставался только репортер, поспешно дописывавший что-то в записной книжке, и около него несколько джентльменов, завсегда таев smoking room'a, которые с любопытством расспрашивали его о добытых от Софрона Ивановича сведениях. Газетный джентльмен ничего не ответил, поспешно сунул книжку в боковой карман и смешался с толпой.

Впереди, в людском потоке, переливавшемся с парохода на пристань, я заметил седую голову Софрона Ивановича. Но когда, получив свой багаж, я вышел из пристанского сарая на улицу Нью-Йорка, – ни Софрона Ивановича, ни его спутницы уже не было. Передо мной катился, переливаясь, новый океан, – состоявший из тысяч чужих, незнакомых людей. Сердце сжалось у меня опять безотчет-

ной тоской одинокого путешественника, а в памяти, среди новых впечатлений, долго еще стояло бледное лицо Евгении Семеновны и ее выразительные глаза, в которых виднелись и испуг, и надежда, и какой-то наивный вопрос...

На следующий день, купив большую нью-йоркскую газету, я нашел в ее хронике заметку о прибытии парохода «Урания». В заметке сообщалось об общем количестве привезенного груза, о цене его по страховым полисам, о числе пассажиров, большинство которых привлечено, разумеется, великим праздником промышленности, на который Америка не в первый уже раз созывает все человечество. Среди международного состава прибывших с «Уранией» леди и джентльменов репортеры газеты могут отметить на этот раз одного английского пэра, двух депутатов парламента, сына одного итальянского политического деятеля, банкира, мистера Смита, хорошо известного Нью-Йорку... Кроме этой аристократии, родовой и денежной, обращают на себя внимание мистер Генри Бус с женой. Как известно, старый генерал Бус, автор

знаменитой книги, переносит свою деятельность на материк Нового Света, где им открыто несколько факторий. Представители нью-йоркского отдела Армии встретили с шумным торжеством одного из своих видных начальников. Но, быть может, самым замечательным пассажиром «Урании» на этот раз следует считать мистера Tcherevanoff'a, русского джентльмена и гениального изобретателя, который привез в дар величайшей стране Нового Света одно из последних своих изобретений, долженствующее, по его словам, совершить переворот не только в технике, но и в области международных и даже социальных отношений. Мистер Tcherevanoff отказался сообщить нашему сотруднику основную идею изобретения, представляющую, по его словам, комбинацию разнородных факторов из самых разнообразных сфер, которую он предложит вниманию всего человечества на великой выставке в Чикаго... Наш сотрудник может лишь засвидетельствовать, что он редко испытывал впечатление, хоть отдаленно приближающееся к тому обаянию, какое производит фигура и манеры знаменитого

русского изобретателя... Мистер Череванов переступил уже пределы зрелого возраста, и его голова бела, как снега его великой родины. Но лицо юношески свежо, а глаза горят молодым вдохновением.

«Мистер Tcherevanoff прибыл в Америку в сопровождении своей дочери, молодой леди, всюду сопровождающей своего знаменитого отца...» – так кончалась заметка, которой Новый Свет приветствовал нашего соотечественника в день его прибытия...

Х

Семьдесят поездов приходило ежедневно к великому городу Чикаго. Семьдесят поездов мчалось по извилистой и запутанной, точно паутина, железной сети на берегу Онтарио к огромному вокзалу, где каждый поезд выкидывал новую массу пассажиров, проходивших через вокзал и тотчас вливавшихся в огромный человеческий океан, грохотавший на улицах выставочного города...

Было что-то подавляющее в размерах этого необыкновенного человеческого сборища. По улицам, окаймленным десяти- и двенадцатиэтажными домами, один за другим мчались поезда электрических трамваев, которые при каждой остановке брались положительно с бою. Люди тесно сбивались в проходах, стояли на площадках, висели на боковых ступеньках. Кондуктора с трудом, но без ропота, пробивались через эту густую массу, стуча механическими счетчиками... А в стороне, на высокой насыпи, с грохотом мчались железнодорожные вагоны, также набитые битком, и каждый поезд выкидывал у выставочной

ограды новые толпы людей, которые присоединялись к прежним, а за ними мчались новые и новые струи этого неисчислимого потока...

Первые дни я чувствовал себя подавленным и как бы уничтоженным. Однажды мне пришлось бросить письмо в почтовый ящик около выставки. Подойдя к ящичку, я увидел, что он совершенно переполнен. Письма грудой лежали на земле у столба, на тротуаре, под стенами домов. Я остановился в нерешительности: что значит моя записочка в этой поражающей груди, и кому дело до того, что в нее я вложил кусочек своей души... И неужели она не затеряется в этом бумажном потоке, кинутым на улицу, и кто-то подымет ее и озаботится узнать, кому она назначена и куда ее следует направить?.. И близкие мне люди все-таки прочтут набросанные мною строки и узнают, что я еще жив среди этого грохочущего людского водопада... Порой мне казалось, что это не может кончиться добром и что в городе Чикаго на берегу Онтарио должна произойти небывалая, грандиозная катастрофа: весь этот океан людей придет в чисто стихий-

ное движение, отдельные струи потеряют свои русла, поезда с грохотом устремятся на поезда, и повторится новое вавилонское столпотворение...

Но через некоторое время это ощущение начало проходить. На четвертый день моего пребывания в Чикаго я ехал в электрическом поезде по направлению от центра города к выставке. Была середина дня, когда собственно выставочное движение несколько стихало, но поезда шли так же часто, заполненные пассажирами. Рядом со мной на скамеечке сидела маленькая девочка, лет пяти. Она была одета в светленькое, довольно бедное платье и держала в руках букетик...

На каждой остановке публика выходила, садились новые пассажиры, и поезд мчался далее, а девочка все сидела на своем месте, с букетиком цветов, и для меня стало очевидно, что с нею никого из взрослых не было.

Публика тоже заинтересовалась оригинальной пассажиркой, и ее стали расспрашивать; девочка охотно отвечала. Оказалось, что она была в гостях у тетки, которая посадила ее в вагон, заплатив за проезд, и доверчиво

оставила ее на волю этого людского потока...

В одном месте, где дома стали уже значительно ниже, а улицы шире, к девочке подошел кондуктор, спросил ее о чем-то, потом взял на руки, пронес через улицу и поставил на панель. Тут он опять спросил ее о чем-то. Она кивнула головкой, указала на какой-то дом и уверенно пошла по панели через площадку.

Кондуктор вернулся к вагону, но еще некоторое время и он, и все пассажиры следили за ситцевым платьем, точно букетик полевых цветов мелькавшим на улице. А между тем, сзади уже подходили к разъездам другие поезда, которые вынуждены были останавливаться и ждать в свою очередь. И я невольно представил себе, что из-за этого маленького создания остановилось теперь движение десятков тысяч людей от одного края огромного города до другого.

И никто не сказал ни слова, пока всем не стало ясно, что девочка в ситцевом платье не сбилась с дороги и уверенно направляется к дому, откуда ей навстречу идет женщина. Тогда кондуктор дал сигнал, наш вагон дрогнул,

и по всей линии, перерезавшей из конца в конец «всемирный город», опять задвигались вагоны с сотней тысяч торопящихся людей...

Эта маленькая картинка произвела на меня удивительно трогательное и глубокое впечатление. Я понял, что стихия, так грандиозно волнующаяся вокруг меня, – действительно разумна и что каждый ее атом может двигаться в ней самостоятельно и свободно, не боясь ее стихийной громадности...

И по мере того, как я вглядывался в этот кажущийся хаос, – передо мной выяснялись его главные течения и их порядок. И я убедился, что ориентироваться в нем далеко не так уж трудно и что личность теряется здесь гораздо меньше, чем в любой нашей толпе...

Это, между прочим, дало мне надежду, что я еще встречусь и с Софроном Ивановичем. И действительно, вскоре он опять всплыл передо мною на поверхности этого смятенного людского океана...

Примечания

После повести «Без языка», появившейся в печати в начале 1895 года, Короленко долго не возвращался к американским темам. Только в 1902 году, перерабатывая «Без языка» для отдельного издания, Короленко вновь обратился к своим записям, связанным с поездкой в Чикаго. С этого времени писатель начал работать над рассказом «Софрон Иванович». Наличие большого количества вариантов этого незаконченного рассказа (около двадцати), записи размышлений Короленко в дневнике 1893 года, совпадающие во многом со словами Софрона Ивановича, говорят о том, что тема рассказа глубоко занимала писателя.

Внешним поводом для создания образа Софрона Ивановича, как можно предполагать по записям в памятной книжке писателя, могла быть встреча в Америке с неким Д. Н. Ч-ко – «большим чудаком», как его называет Короленко. Это был изобретатель воздухоплавательной машины, ярый пропагандист международного языка – волапюка. И машина, и

волапюк должны были быть, по его мнению, средствами объединения человечества, создания «всемирного мира».

Рассказ «Софрон Иванович» впервые был напечатан в XVIII томе посмертного собрания сочинений В. Г. Короленко, Госиздат Украины, 1923. В настоящем собрании рассказ печатается по тексту этого издания.

Подготовка текста и примечания С. В. Короленко

Примечания

Торвальдсен Бертель (1770–1844) – знаменитый датский скульптор, создатель, в числе прочих скульптур, памятников Байрону, Гутенбергу, Копернику и др.

[^^^]

2

Было это в 1894 году – здесь ошибка автора – чикагская выставка была в 1893 году.

[^^^]

Брандес Георг (1842–1927) – известный датский критик и историк литературы. Очерки Брандеса, посвященные русским писателям (Пушкину, Тургеневу, Герцену, Чернышевскому, Толстому, Достоевскому, Горькому и др.), способствовали расширению влияния русской литературы на западноевропейскую.

[^^^]

4

Валькирии – в скандинавской мифологии – воинственные девы-богини, которые помогали героям в битвах и уносили души убитых воинов в Валгаллу, где их ожидали всякие радости.

[^^^]

5

Брекватер (*англ.*) – волнолом, каменная плотина для защиты гавани от волн.

[^^^]

Быстрее, быстрее.

[^^^]

7

Быстрее, быстрее.

[^^^]

8

Ванты (*голланд.*) – тросы, которыми укрепляются мачты на судах.

[^^^]

Человек, который смеется (*франц.*).

[^^^]

Компрачикосы (*исп.*) – люди, похищавшие детей и уродовавшие их для продажи в качестве шутов.

[^^^]

Снег и ночь (*лат.*).

[^^^]

Необыкновенное, удивительное море (*лат.*).

[^^^]

Пропуск автора (*ред.*).

[^^^]

...в 1894 году – ошибка: в 1893 году.

[^^^]

Гладстон Вильям Эварт (1809–1898) – крупный английский политический деятель, вождь либеральной буржуазии. В связи с отклонением в 1894 году палатой лордов билля о самоуправлении Ирландии вынужден был уйти с поста премьера) и лидерства в либеральной партии.

[^^^]

Пропуск автора (*ред.*).

[^^^]

Веллингтон Артур (1769–1852) – английский полководец и политический деятель. В 1815 году при содействии Блюхера одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо.

[^^^]

...прославленного Диккенсом мистера Уэллера старшего – персонажа романа Чарльза Диккенса «Записки Пиквикского клуба».

[^^^]

Посейдон – в древнегреческой мифологии – бог морей.

[^^^]

Курильной комнате (*англ.*).

[^^^]

Пожалуйста, сэр (*англ.*).

[^^^]

Дьявола (англ.).

[^^^]

Армия Спасения (*англ.*) *Армия Спасения* – религиозно-филантропическая, ханжеская реакционная организация, основанная в 1865 году в Лондоне. Члены организации делятся на «солдат», «офицеров», «генералов», подражая строю армии. «Армия Спасения» тесно связана с капиталистическими кругами Англии и Америки.

[^^^]